

Ганс Гейнц Эверс

Последняя воля Станиславы Д'Асп

Нет сомнения в том, что Станислава д'Асп в течение двух долгих лет самым ужасным образом обращалась с Винсентом д'Оль-Онивалем. Он неизменно каждый вечер сидел в партере, когда она пела свои сентиментальные песни, и чуть не ежемесячно переезжал вслед за нею из одного города в другой. Его розами она кормила кроликов, с которыми выступала на эстраде, его бриллианты она закладывала, чтобы приглашать к себе своих коллег и вообще всех прихлебателей богемы. Однажды он вытащил ее из канавы, в которую она свалилась, возвращаясь пьяная домой с одним маленьким журналистом. При этом она расхохоталась ему в лицо:

– В таком случае пойдемте вместе, по крайней мере вы нам посветите.

Она не щадила его, и не было таких оскорблений, которыми не осыпала бы его. Ругань, почерпнутая в атмосфере вонючих притонов портовых городов, жесты – такие бесстыдные, что они заставили бы покраснеть любого сутенера, сцены, заимствованные из книг при помощи врожденного инстинкта развратницы – вот, что выпало на долю графа, едва только он осмеливался приблизиться к ней.

Мелкие людишки варьете любили его, они бесконечно жалели этого несчастного шута. Правда, они принимали деньги, разбрасываемые развратницей, но тем глубже они презирали ее, эту проститутку, которая компрометировала их благородное артистическое сословие, искусство которой не стоило и выеденного яйца, и которая не имела за собой ничего кроме ослепительной красоты. Раз как-то разбили даже об ее голову бутылку из-под красного вина, так что ее белокурые волосы слиплись от крови.

И вот однажды вечером, когда она снова так охрипла, что не могла больше вызвать ни одного звука из своей пересохшей гортани, и когда театральный врач после короткого освидетельствования грубо объявил ей, что у нее чахотка в последнем градусе – что она, впрочем, уже давно сама знала – и что она месяца через два отправится к дьяволу, если будет продолжать такую жизнь, она велела позвать к себе в уборную графа. Когда он вошел, она плюнула в сторону и сказала ему, что теперь согласна сделаться его содержанкой. Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но она оттолкнула его и расхохоталась. Однако этот короткий ядовитый смех вызвал раздражение в ее больных легких, и она вся согнулась от приступа удушливого кашля. Когда припадок прошел, она склонилась над туалетом, уставленным банками с румянами и пудрой, и со стоном вытерла рот шелковым платком. Граф нежно положил свою руку на ее белокурые локоны; тогда она вскочила:

– Так берите же меня!..

Она поднесла к самому его носу платок, пропитанный кровью и желтой мокротой.

– Вот, милостивый государь, этого я еще достойна.

Такова была Станислава д'Асп. Однако, надо сознаться, что эта проститутка сейчас же превратилась в настоящую даму. Граф возил ее по всей Европе, из одного санатория в другой. Она повиновалась ему во всем и делала все, что предписывали ей доктора; при этом она никогда не жаловалась и не произносила ни одного слова возражения. Она не умерла; она жила еще месяцы и годы, и здоровье ее понемногу восстанавливалось, очень медленно, но все-таки ей становилось все лучше и лучше.

И все чаще и чаще взгляд ее останавливался на графе. Вместе с покоем, вместе с этой тихой, вечно однообразной жизнью в ее сердце зародилось чувство благодарности, которое все росло.

Когда они уезжали из Алжира, врач сказал, что можно надеяться на ее полное выздоровление. Граф отвернулся, но она все-таки заметила слезинку, скатившуюся по его щеке. И вдруг у нее явилось желание еще увеличить его радость, и она дотронулась до его руки. Она почувствовала, как трепещет все его тело; тогда она улыбнулась и сказала:

– Винцент, я хочу выздороветь для тебя.

В первый раз она произнесла его имя, в первый раз она сказала ему «ты» и в первый раз она до него дотронулась. Он посмотрел на нее – и выбежал из комнаты, не владея больше собой. Но когда она посмотрела ему вслед, то на лице ее снова появилось выражение досады и горечи.

– Ах, если бы он только не плакал!

И все-таки ее благодарность и сострадание к нему все росли в ее сердце. К этому присоединялось чувство собственной виновности, сознание долга отплатить за эту великую любовь. Вместе с тем она проникалась мало-помалу уважением к этому безграничному чувству, она восхищалась этой необыкновенной любовью, которая в одну секунду порождала так много, что этого могло хватить на целую человеческую жизнь. И вот она убедилась наконец в том, что для этой любви нет ничего невозможного, что на ее долю выпало чувство, такое великое, такое прекрасное, такое необыкновенное, какое проявляется только однажды в течение целых столетий. И позже, когда в ней зародилась любовь – и когда она полюбила – то она все-таки любила не его, а его великую любовь.

Этого она ему не говорила, она знала, что он не поймет ее, но она делала все, чтобы он был счастлив. И только единственный раз она сказала ему «нет».

Это было, когда он попросил ее стать его женой.

Однако граф не сдавался, и борьба между ним и ею продолжалась целые месяцы. Наконец она сказала ему, что напишет его семье, если он не перестанет просить ее об этом. Тогда он сам написал своим родным и сообщил им о своем обручении. Сперва к нему приехал двоюродный брат, потом дядя; оба они объявили, что она очаровательна и очень благоразумна, а он дурак. Граф расхохотался и сказал, что он все-таки поставит на своем. Тогда приехала к нему его старая мать, и тут Станислава д'Асп поставила свою самую крупную ставку. Чем она была, это хорошо знал граф, и он сам мог рассказать об этом своей матери. Но она показала свои бумаги и сказала, что ее зовут Леа Леви, и что она незаконнорожденная. К тому же она еврейка и останется еврейкой на всю жизнь. Да! И если после этого граф Винцент д'Оль-Ониваль, маркиз Ронвальский, благочестивый сын одного из самых благородных христианских домов в Нормандии, все-таки хочет жениться на ней, то пусть женится. Сказав это, она вышла из комнаты и оставила вдвоем сына и мать, вдовствующую графиню.

Она хорошо заранее обдумала свой поступок. Она хорошо знала графа и знала, как глубока в нем его детская вера; она знала также, что он никогда не вставал с постели и не ложился спать, никогда не приступал к трапезе и не вставал из-за стола, не произнеся молитвы. О, он молился очень тихо, совсем незаметно, и ни один чужой человек не мог бы заметить это. Ей было известно также и то, что он ходил к обедне и к причастию, и что все это он делал вследствие глубокого и искреннего чувства. Она хорошо знала, как он был привязан к своей матери, как он любил и почитал ее. Эта умная, старая женщина, конечно, заставит его внять голосу благоразумия, она еще раз скажет ему, как невозможен этот брак, в какое смешное положение он ставит себя перед своими людьми, и какой великий грех он совершит перед своей матерью и своей верой...

Она стояла у себя на балконе и ждала. Она хорошо знала каждое слово, которое должна была произносить мать, она сама повторяла все ее доводы. Она охотно присутствовала бы при этом разговоре, чтобы подсказывать матери, и чтобы та совершенно ясно и убедительно говорила с сыном и ничего не забыла. Да, целый океан невозможности лежит между нею и его любовью, и неужели же – неужели же он все-таки...

Вдруг у нее в голове пронеслась новая мысль. Быстро выбежала она из своей комнаты и направилась в комнату графа. Она с силой распахнула дверь и вошла в кабинет; она задыхалась и не находила слов. С минуту она стояла перед старой графиней, потом у нее вырвалось по складам резко и сухо:

– И мои дети – если у меня когда-нибудь будут дети – будут евреями, евреями, как и я сама.

Она не ждала ответа, она снова прибежала в свою комнату и упала на кровать. Ну,

теперь наконец все кончено! О, конечно, он будет побежден на этот раз, он не устоит, этот большой, глупый мальчик, этот сентиментальный аристократ из другого мира, этот христианский брат милосердия с его верой и с его любовью. И ею овладело чувство удовлетворения при мысли о том, что наконец-то она нашла железные ворота, несокрушимые даже для этой великой, беспредельной любви, которую она всегда чувствовала, но никогда не могла, как следует, понять.

Она была уверена, что теперь ей придется покинуть его, что она уйдет, снова поступит в варьете или же просто бросится с Сортектской скалы – это одно и то же. И в ней явилось чувство гордости и сознание своей мощи, когда она вспомнила, как в силу безотчетного инстинкта она когда-то оплевывала графа и осыпала его грязными словами словно пощечинами. Граф проиграл свою ставку, и она снова превратилась в проститутку, и никакими силами небесными ее нельзя больше вырвать из этой грязи.

Но вот растворилась дверь. Она вскочила с постели, и на лице ее уже готова была появиться ее прежняя улыбка. С ее уст готовы были сорваться грязные слова, которые она давно уже забыла, и которые в эту минуту снова всплыли в ее памяти, о, она знала, как она встретит графа.

Но к ней вошла старая графиня. Тихо подошла она к молодой женщине, присела к ней на постель и привлекла ее к себе. Станислава слышала ее слова, но едва ли она понимала их. Ей казалось, что где-то в отдалении тихо играет орган. И эти звуки говорили ей, и она только чувством угадывала, что они означают.

Пусть она делает все, что ей заблагорассудится; все, все, что ей угодно. Пусть только она выйдет замуж за ее сына и сделает его счастливым. Она сама, его мать, пришла просить за него. Ибо любовь его так велика.

Станислава встала и повторила:

– Ибо любовь его так велика.

Она позволила отвести себя к графу. Она позволила ему и его матери поцеловать себя. У нее было такое чувство, словно это было освобождением от чего-то тяжелого и выздоровлением. Выздоровлением тела и души. Ибо отныне жизнь ее была сосудом для драгоценного содержимого; для веры в его великую любовь.

Станислава вышла замуж за графа. Странную жизнь вели они за эти месяцы. Она не любила его, она хорошо сознавала это. Но ей казалось, что она тихо нежится перед камином на пушистых мягких шкурах, и ровное пламя нежно ласкает ее холодное тело. Она всегда чувствовала истому, такую сладкую истому; и его согревающая любовь погружала ее в дремоту, и она тихо улыбалась про себя; она думала, что теперь она счастлива. Но не счастье вызывало ее улыбку, а все та же мысль об этой непонятной любви, которая была беспредельна, как мир, и которая обвевала ее со всех сторон и окружала теплом и негой, словно лист, нежно поднятый полуденным ветерком. В это время в ней умерли все желания, заглохли все воспоминания о былом. А вера ее росла, и она прониклась твердой уверенностью в том, что нет на свете ничего, чего бы не совершила ради нее его любовь.

Время от времени, – о, лишь очень редко, – она стучалась в эту необыкновенную любовь, в эту таинственную силу, для которой ничего не было невозможного. На скачках в Отейле она поставила несколько золотых монет на одну плохую лошадь.

– Не ставь на нее, – сказал граф, – она ничего не стоит.

Станислава посмотрела на него, она посмотрела ему прямо в глаза долгим взглядом:

– Но, не правда ли, Винцент, она все-таки выигрывает? Мне так хотелось бы, чтобы она выиграла.

Когда начались скачки, она не смотрела на лошадей; она не сводила глаза с графа и видела, как он сложил руки, и как его губы тихо шевелились. Она поняла, что он молится. И когда выяснилось, что любимцы публики все остались за флагом, а жалкая лошадь, на которую все смотрели с презрением, пришла первой, – она приписала это его молитве и силе его великой любви.

Но вот настало время, когда на ее жизненном пути появился Ян Ольеслагерс. Это был

друг графа еще со школьной скамьи, который с тех пор так и остался его другом. Он вечно странствовал по всему свету, и никогда никто не знал, где он находится. Но время от времени от него приходило совершенно неожиданно открытое письмо из Кохинхины, из Парагвая или из Родезии. Теперь он находился в Европе, и граф пригласил его в свой замок в Ронваль.

Все произошло необыкновенно быстро. Фламандцу понравилась эта женщина, а он привык брать все, что ему нравится. Впоследствии, гораздо позже, кто-то упрекнул его в том, что он отнял у своего друга жену, которую он даже и не любил. Он ответил на это:

– Да, он был моим другом, но разве это помешало ему быть ослом? А затем: неужели одна только женщина целовала мои губы? Отчего же в таком случае только один мужчина должен владеть ею?

Он взял Станиславу, как брал у графа лошадь для верховой езды, велосипед, как он ел его хлеб и пил его вина. То, что он сделал, вышло само собой и без особого интереса с его стороны. И, в сущности, было так же естественно, что эта женщина отдалась ему сразу, без колебания, без сопротивления.

Но она отдалась ему не потому, что в ней хотя бы на мгновение проснулась старая проститутка. Ян Ольеслагерс покорил графиню д'Оль-Ониваль, а не Леа Леви. Последняя едва ли обратила бы на него внимание и наверное не влюбилась бы в него, тогда как графиня прониклась к нему самой пламенной любовью. И не потому, что он был прекрасным наездником – граф ездил верхом гораздо лучше его. Но, сидя верхом на лошади, фламандец превращался совсем в другого человека, – о, в ее глазах он был совсем не таким, каким был за минуту до этого! Граф был всегда один и тот же, на охоте ли, или за карточным столом. А этот человек всегда был другим, что бы он ни делал. Все для него было игрой, и всегда он играл одинаково хорошо. Не было ничего на свете, что он принимал бы серьезно; его все интересовало, но, в сущности, он по-видимому, находил, что ничто не достойно интереса за исключением одного: его самого и того, что он живет. Для него это было центром всего, и этот единственный инстинкт настолько вкоренился в нем и был так силен, что он на все окружающее переносил свое «я».

Быть-может, в этом и крылась причина его победы. Когда он был далеко, то его быстро забывали, но в его присутствии нельзя было устоять против него – тогда он был властелином.

Станислава д'Асп нашла в нем новый, более широкий мир. Мир, полный загадок и таинственности, полный замкнутых дверей и калиток, которые ему, по-видимому, и в голову не приходило раскрывать. В графе все было ясно и просто; в его душевном мире она вращалась так же свободно, как в тихом парке замка. Она знала каждую клумбу и каждый розовый куст, но лучше всего она знала тот могучий дуб, который не в силах была бы вырвать самая сильная буря, и который стоял гордо и непоколебимо: его великую любовь. А душа другого была для нее заколдованным лабиринтом. Она выбирала одну дорогу, которая казалась ей прекраснее дороги в дворцовом парке. Ей казалось, что дорога эта ведет в бесконечную даль, а между тем стоило сделать лишь несколько шагов, как оказывалось, что путь прегражден непроходимой живой колючей изгородью. Она сворачивала в сторону на другую дорожку, но тут ей не позволяло идти дальше какое-нибудь странное животное. То она блуждала, как впотьмах, в удушливой атмосфере, которая возбуждала ее дремавшие чувства... Что же касается фламандца, то он ничего не искал у этой женщины, ничего от нее не добивался. Однажды вечером, во время ужина, он сказал, что провел несколько восхитительных недель в этом тихом замке, и что от всего сердца благодарен своему другу и любезной графине, но что теперь ему пора уезжать снова в широкий свет, и что завтра он отправляется в Бомбей. Все это он сказал небрежным тоном, как бы между прочим, но в действительности все было так, как он говорил. Граф старался уговорить его остаться подольше, но графиня не произнесла ни слова. Когда они встали из-за стола, и граф отдал слугам приказание все приготовить на следующее утро к отъезду своего друга, графиня попросила гостя последовать за нею в сад.

Там она сказала ему, что поедет вместе с ним. Ян Ольеслагерс приготовился к той или другой сцене, но этого никак не ожидал. А потому он на мгновение потерял обычное самообладание и, стараясь найти слова, которые хотя бы сколько-нибудь походили на доводы благоразумия, сказал нечто такое, чего он, быть-может, не сказал бы при других обстоятельствах. У него не хватило духу сказать ей, что он не желает, чтобы она сопровождала его, что он не питает к ней никакого чувства, и что в большом замке его воспоминаний она занимает лишь маленькую каморку, что она не более как цветок, который он сорвал мимоходом и воткнул в петлицу дневного костюма, чтобы бросить его, переодеваясь к вечеру. И вот ему пришел наконец в голову единственный правдоподобный довод, который он мог привести графине. Он начал с того, что сказал с некоторым чувством, что долго боролся, и что сердце его разрывается на части. Но к несчастью, он слишком привык к широкой жизни и хорошо знает, что он уже не в силах больше изменить своим привычкам. Состояние его однако едва хватает на него одного и далеко не соответствовало бы потребностям графини. Оба они до такой степени привыкли к роскоши и комфорту, что малейшее лишение... И в конце концов им все-таки пришлось бы расстаться, а потому-то он и решил уехать теперь, чтобы позже не делать разлуку еще тяжелее...

Как и всегда, он в эту минуту верил сам тому, что говорил, и он был убежден в том, что графиня верит каждому его слову. Она молчала, и он нежно обнял ее. Его верхняя губа слегка дрогнула, еще только несколько слов: не надо плакать... злой рок... возможно свидание... вздохи и слезы... – и все обойдется.

Но графиня удивила его. Она выпрямилась во весь рост, посмотрела открытым взглядом прямо в его глаза и сказала спокойно:

– Винсент даст нам все, что нам необходимо.

Он не мог произнести ни слова, он с изумлением смотрел на нее и наконец пробормотал едва внятно:

– Что? Ты с ума...

Но она его больше не слушала, она медленно пошла к замку. И она была так уверена в своей удаче, так непоколебимо верила во всемогущую любовь графа, который должен был принести ей и эту жертву, самую большую из всех, – что она сказала, с улыбкой оборачиваясь к фламандцу с высокой лестницы:

– Подожди здесь минутку.

В ее последнем жесте было столько царственного величия, что Ян Ольеслагерс готов был снова признать эту женщину обворожительной. Он ходил взад и вперед по дорожкам парка, залитым лунным светом, и смотрел на замок, стараясь найти хоть одно освещенное окно. Но ни в одном окне не было света. Он подошел ближе к замку, надеясь услышать хоть какие-нибудь голоса, крик или истерические рыдания. Но он ничего не услышал. Ни на минуту ему в голову не пришла мысль войти в замок – он питал инстинктивное отвращение ко всему неприятному. Он только обдумывал, что ему предпринять, чтобы отделаться от этой женщины, если бы графом овладело безумие, и он отдал бы ему ее вместе с приданым. Как отделаться от нее, не будучи грубым и резким? Раза два он расхохотался, – он сознавал весь комизм этой глупой истории. Однако и этот комизм показался ему в конце концов слишком ничтожным для того, чтобы им наслаждаться. Ему стало скучно; взвесив все и не придя ни к какому заключению, он потерял интерес к этому вопросу. Пробродив по тихому парку несколько часов, он совершенно успокоился, и ему стало казаться, что все это ничуть не касается его. Что все это произошло в незапамятные времена, или что все это случилось с кем-то другим, а не с ним. Он начал зевать и наконец вошел в замок и направился в свою комнату через длинные коридоры и лестницы. Здесь он разделся, тихо просвистал уличную песенку и улегся в постель.

Рано утром его разбудил камердинер и, сказав, что автомобиль ждет его, помог ему уложить вещи. Ян Ольеслагерс не спросил про господ, но он сел писать письмо графу. Он написал подряд три письма – но разорвал все. Когда автомобиль с пыхтением выехал из ворот парка и понесся по дороге в утреннем тумане, он со вздохом облегчения воскликнул:

– Слава Богу!

Он уехал в Индию. Но на этот раз он не посылал больше открытых писем. Через полтора года он получил одно письмо, которое долго путешествовало вслед за ним. Письмо было адресовано ему в Париж, и адрес был написан рукою графа; в конверте было только напечатанное извещение о смерти графини. Ян Ольеслагерс сейчас же ответил; он написал красноречивое, умное письмо, которым остался очень доволен. Он ничем не выдал себя в этом письме, но вместе с тем был искренен и чистосердечен. Одним словом, это было письмо, которое должно было произвести впечатление на того, кому оно предназначалось. Однако на это письмо он не получил ответа. Только год спустя, когда он снова очутился в Париже, он получил второе письмо от графа.

Письмо было очень короткое, но сердечное и теплое, как в былые времена. Граф просил его именем их старой дружбы при первой возможности приехать к нему в Ронваль. Эта просьба была в связи с последней волей графини.

Ян Ольеслагерс был неприятно поражен: от такого путешествия он не мог ожидать ничего хорошего. Его ничуть не интересовала развязка этой семейной драмы, к которой уже давно не имел никакого отношения. Но он уступил просьбе графа только в силу действительно сохранившегося в нем чувства дружбы.

Граф не встретил его на вокзале. Но слуга, который приехал за ним и привез его в замок, попросил его пройти в библиотеку. Граф сидел без книги, без газеты, а между тем, по-видимому, он уже долго сидел так, – перед ним стояла пепельница, переполненная папиросными окурками.

– А, наконец-то ты пришел, – сказал он тихо. – Я уже давно тебя жду. Хочешь чего-нибудь выпить?

Это приветствие показалось фламандцу мало симпатичным. Однако он чокнулся с другом. Три-четыре стакана крепкого бургундского, и он снова приобрел обычную уверенность. Он пускал клубы табачного дыма в огонь и чувствовал себя прекрасно в мягком глубоком кресле. В голосе его была даже некоторая снисходительность, когда он сказал:

– Ну, теперь рассказывай.

Однако он сейчас же раскаялся в своем грубом тоне, и его охватило чувство сострадания, когда он услышал неуверенные слова:

– Извини... но не расскажешь ли ты мне сперва.

Тут Ян Ольеслагерс был близко к тому, чтобы сделаться сентиментальным и покаяться.

Однако граф избавил его от этого. Едва его друг пробормотал первое слово, как он его прервал:

– Нет, нет. Извини, я не хочу мучить тебя. Ведь Станислава все рассказала мне.

Фламандец повторил несколько неуверенно:

– Она тебе все рассказала?

– Да, конечно, в тот вечер, когда она рассталась с тобой в парке. Впрочем – все это я сам давно уже должен был сказать себе. Было бы чудо, если бы ты полюбил ее.

Друг сделал легкое движение в своем кресле.

– Не говори ничего... А что она полюбила тебя – то это так же естественно. Итак, я виновен во всем: я не должен был тогда приглашать тебя сюда. Я сделал вас обоих несчастными.

– И себя также.

– Прости мне!

На душе у фламандца стало очень нехорошо. Он бросил в огонь только-что закуренную папироску и закурил другую.

– Станислава сказала, что вы друг друга любите. Она просила меня дать вам средства, которых у тебя не было. Разве это не было прекрасно с ее стороны?

Фламандец проглотил слова, которые готовы были сорваться у него с губ. Он с усилием произнес только:

– Господи...

– Но я не мог этого сделать. Да вначале я и не понял как следует, насколько велико и сильно было ее желание. Я отказал ей и позволить тебе уехать. Каким несчастным ты должен был чувствовать себя, мой бедный друг, – можешь ли ты простить меня? Я знаю, как можно было страдать по ней, как можно было любить эту женщину.

Ян Ольеслагерс наклонился вперед, взял щипцы и стал мешать ими в камин. Его роль в этой комедии была невыносима, и он решил положить этому конец. Он сказал резко:

– Черт возьми, и я это знаю.

Однако граф продолжал все в том же тихом, скорбном тоне:

– Верю, что ты это знаешь. Но я не мог, – не мог отпустить ее. У меня не хватило сил на это. Можешь ли ты простить меня?

Ян Ольеслагерс вскочил с кресла и резко крикнул ему прямо в лицо:

– Если ты сейчас же не перестанешь дурачиться, то я уйду!

Но граф схватил его за руки:

– Прости, я не буду тебя больше мучить. Я хотел только...

Тут только Ян Ольеслагерс увидел, что его друг одержимый, и он уступил ему. Он крепко пожал ему в ответ руку и сказал со вздохом:

– Во имя Господа, я прощаю тебя!

Тот ответил ему:

– Благодарю тебя.

После этого оба замолчали.

Немного погодя, граф встал, взял с одного стола большую фотографию в раме и протянул ее своему другу:

– Вот это для тебя.

Это был портрет графини на смертном одре. У изголовья стояли два великолепных канделябра из черного серебра, подарок Людовика XIII одному из предков графа. Черная гирлянда, висевшая между колонками кровати, бросала тень на лицо покойницы. Быть может, благодаря этой тени, создавалось впечатление, будто лежит живая. Правда, глаза были закрыты, черты лица застыли, и выражение не соответствовало дремлющему человеку. Но полуоткрытые губы улыбались странно и насмешливо...

Кружевная сорочка была застегнута до самого ворота, широкие рукава ее ниспадали до самых пальцев. Длинные, узкие руки были сложены на груди, и прозрачные пальцы сжимали Распятие из слоновой кости.

– Она приняла католичество? – спросил фламандец.

– Да, в последние дни она обратилась, – подтвердил граф. – Но, знаешь ли, – продолжал он тихо, – мне кажется, она сделала это, чтобы придать еще больше силы моей клятве.

– Какой клятве?

– Накануне смерти она заставила меня поклясться, что я буквально исполню ее последнюю волю. В этой воле нет ничего особенного, дело касается только ее погребения в часовне замка; она это сказала мне тогда же, хотя ее завещание я вскрыю только сегодня.

– Так она, значит, еще не похоронена?

– О, нет! Разве ты никогда не бывал в нашей часовне в парке? Почти все мои предки были сперва похоронены на маленьком кладбище, среди которого стоит часовня. И только по прошествии нескольких лет останки из вырывали из могил, клали в урны из обожженной глины и ставили урны в часовню. Существует такой нормандский обычай, который, как говорят хроники, со времен Рожэ Рыжего. Я думаю, что этот обычай установился в силу необходимости, так как едва ли хоть один из этих искателей приключений умирал дома. И вот товарищи умершего приносили домой его останки вдове. Все мои предки покоятся там, как мужчины, так и женщины, все без исключения. И, конечно, туда я поставил бы также и останки Станиславы, не дожидаясь, чтобы она сама попросила об этом. Но она не доверяла мне после того, как это случилось, она думала, быть может, что я откажу ей в этой чести. Вот почему она заставила меня поклясться.

– Она не доверяла тебе?

– Да. До такой степени, что мое обещание и моя клятва не показались ей достаточными. Во время своей болезни она мучительно ворочалась на подушках, тяжело вздыхала и скрипела зубами. Но вот однажды она вдруг попросила меня позвать священника. Я послал за ним, и она с нетерпением ждала его прихода. Когда он наконец пришел, то она спросила его, какая клятва считается для христиан наиболее священной; он ответил: «Клятва, произнесенная над Распятием». Потом она спросила его, разрешает ли Церковь от клятвы, данной неверующему. Старый деревенский священник пришел в смущение: он не знал, что ответить, и наконец сказал, что каждая клятва священна, но что, может быть, Церковь при известных обстоятельствах... Тут графиня ухватила за него обеими руками, приподнялась с постели и воскликнула:

– Я хочу сделаться христианкой!

Священник колебался и ответил не сразу.

Но графиня была настойчива, не отставала от него и крикнула ему:

– Разве вы не слышите? Я хочу сделаться христианкой!

Рассказывая все это, граф ни разу не поднял голоса, но он задыхался, и на лбу у него выступили капельки пота. Он взял стакан, который ему протягивал его друг и осушил его. Потом он продолжал:

– Священник стал наставлять ее, тихо и ласково, но в немногих словах. Он рассказал ей о сущности нашей веры, стараясь не слишком утомлять умирающую. После этого он крестил и причастил ее. Когда обряд был окончен, она еще раз взяла за руку священника. Голос ее был такой кроткий и счастливый, как у ангела; она сказала ему:

– Прошу вас, подарите мне это Распятие.

Священник дал ей распятие, и она крепко схватила его обеими руками.

– Скажите, – продолжала она, обращаясь к священнику, – если христианин поклянется в чем-нибудь на этом Распятии, то ведь он должен сдержать свою клятву?

– Да!

– Нерушимо?

– Нерушимо...

Она тяжело опустилась на подушки.

– Благодарю вас.

– Денег у меня нет, но я даю вам все мои драгоценности. Продайте их, а деньги раздайте бедным.

В этот вечер она не произнесла больше ни слова. Но утром она знаками подозвала меня к постели. Она сказала мне, что ее последняя воля находится в запечатанном конверте в ее портфеле. Я должен вскрыть его только три года спустя и в твоём присутствии.

– В моем присутствии?

– Да. Она заставила меня опуститься на колени и потребовала, чтобы я еще раз поклялся ей в точности исполнить ее последнюю волю. Я уверил ее, что сдержу клятву, данную ей накануне, но она не удовлетворилась этим. Она заставила меня поднять мою правую руку, а левую положить на Распятие, которое она не выпускала из рук; медленно произносила она слова, которые я повторял за нею. Таким образом я поклялся ей два раза.

– И тогда она умерла?

– Да, вскоре после этого. Священник еще раз пришел к ней и напутствовал ее. Но я не знаю, слышала ли она его на этот раз. Только, когда он заговорил о воскресении мертвых и о том, что она увидится со мной, она слегка повернула голову и сказала: «Да, верьте этому: меня он наверное еще увидит». Это были ее последние слова. Говоря это, она тихо улыбнулась, и эта улыбка осталась у нее на лице после того, как она заснула вечным сном.

Граф встал и направился к двери.

– Теперь я принесу ее завещание.

Ян Ольеслагерс посмотрел ему вслед.

– Бедняга, – пробормотал он, – воображаю, какая чертовщина в этом завещании. – Он взял графин с вином и наполнил оба стакана.

Граф принес кожаный портфель и отпер его ключиком. Он вынул небольшой конверт и протянул его другу.

– Я? – спросил он.

– Да. Графиня выразила желание, чтобы ты вскрыл его.

Фламандец колебался одно мгновение, потом сломал печать. Разорвав конверт, он вынул лиловую бумагу и громко прочел несколько строк, написанных твердым, прямым почерком:

«Последняя воля Станиславы д'Асп.

Я желаю, чтобы то, что останется от меня три года спустя после моего погребения, было вынуто из гроба и переложено в урну в дворцовой часовне. При этом не должно быть никакого торжества, и, за исключением садовника, должны присутствовать только граф Винсент д'Оль-Ониваль и его друг, господин Ян Ольеслагерс. Вынуть останки из могилы должно после полудня, пока светит солнце, и до заката солнца останки мои должны быть положены в урну и отнесены в капеллу. Пусть это будет воспоминанием о великой любви ко мне графа.

Замок Ронваль, 25.VI.04. Станислава, графиня д'Оль-Ониваль».

Фламандец протянул листок графу:

– Вот – это все.

– Я это хорошо знал; так и она мне говорила. А ты думал, что тут могло быть что-нибудь другое?

Ян Ольеслагерс стал ходить большими шагами взад и вперед.

– Откровенно говоря – да! Разве ты не говорил, что этот обычай хоронить членов вашей семьи всегда соблюдается оставшимися в живых родственниками?

– Да.

– И что ты во всяком случае оказал бы эту честь Станиславе?

– Безусловно!

– Но почему же тогда, скажи ради Бога, заставила она тебя дважды поклясться в том, что подразумевается само собою, – да еще так торжественно поклясться?

Граф взял в руки фотографию графини и долго смотрел на нее.

– Это моя вина, – сказал он, – моя великая вина. Иди, сядь здесь, я все объясню тебе. Вот видишь, графиня верила в мою любовь к ней. И когда эта любовь в первый раз обманула ее ожидания, то для нее это было то же самое, что упасть в бездну. Когда я ей отказал в том, о чем она просила меня, она думала, что я шучу. Так она была уверена, что в силу моей любви к ней я исполню то, о чем она меня просила. И когда она увидела мою слабость, когда она убедилась в том, что я не отпущу ее, когда она потеряла то единственное, во что верила, тогда в ней произошла странная перемена. Казалось, словно я лишил ее жизнь содержания. Она начала медленно чахнуть, она таяла, как тень во время заката солнца.

Так по крайней мере я все это понимал.

В течение нескольких месяцев она не покидала своей комнаты. Она сидела на балконе, молча, мечтательно взирая на верхушки высоких деревьев. Ха все это время она почти не разговаривала со мной. Она ни на что не жаловалась; казалось, она изо дня в день раздумывает только о какой-то тайне. Раз как-то я застал ее в библиотеке, она лежала на полу и усердно перелистывала всевозможные книги, как бы ища чего-то. Но я не видел, какие книги она рассматривала; она попросила меня выйти. Потом я заметил, что она стала много писать, она писала каждый день по два, по три письма. Вскоре после этого со всех сторон на ее имя стали приходить пакеты. Все это были книги, но какого рода – я не знаю, она сожгла их перед своей смертью. Знаю только, что все эти книги имели отношение к токсикологии. Она усердно изучала их; целые ночи напролет я бегал по парку и смотрел на

матовый свет в ее окне. Потом она снова начала писать письма, и тогда на ее имя стали приходить странные посылки, обозначенные как пробы. На них были обозначены имена отправителей: Мерка из Дармштадта, Хейсера из Цюриха и других известных фирм, торгующих ядами. Мне стало страшно, я подумал, что она хочет отравиться. Я собрался с духом и спросил ее об этом. Она засмеялась.

– Умереть? Нет, это не для смерти! Это только для того, чтобы лучше сохраниться!

Я чувствовал, что она говорит неправду, и все-таки ее ответ не успокоил меня. Два раза приходила пакеты, которые необходимо было взять в таможне; я спросил ее, нельзя ли мне самому их получить. Я думал, что она откажет мне в этом, однако она ответила мне небрежно:

– Почему же нет? Возьми их!

– В одном пакете, который издавал сильный, хотя и не неприятный запах, оказался экстракт горького миндаля, в другом, присланном из Праги, я увидел блестящую пасту, так называемую «фарфоровую». Я знал, что графиня употребляла эту глазурь; в течение целых месяцев она несколько часов в день проводила за наведением на лицо этой эмали. И наверное только благодаря этой удивительной эмали, вопреки разрушительному действию все прогрессирующей болезни, ее лицо до самого конца сохранило свою красоту. Правда, черты стали неподвижными и напоминали маску, но они остались такими же прекрасными и чистыми до самой смерти. Вот посмотри сам, смерть была бессильна изменить ее!

Он снова протянул своему другу фотографию графини.

– Мне кажется, что все это служит доказательством того, насколько она порвала все с этим миром. Ничто не интересовало ее больше, и даже о тебе – прости – она никогда не упоминала ни единым словом. Только ее собственное прекрасное тело, которому, она знала, суждено скоро разрушиться, казалось ей еще достойным интереса. Да и на меня она едва обращала внимание после того, как угасла ее вера в силу моей любви; а иногда мне казалось даже, что в ее взоре появляется огонь непримиримой ненависти, более ужасный, более страшный, чем то беспредельное презрение, с которым она раньше обращалась со мной. Можно ли удивляться после этого, что она мне не доверяла? Кто теряет веру хотя бы в одного святого, вскоре будет отрекаться от Распятого и от Пресвятой Девы! Вот почему, я думаю, она заставила меня дать эту странную клятву!

Однако Ян Ольеслагерс не удовлетворился этим объяснением.

– Все это хорошо, – сказал он, – это служит лишь доказательством твоей любви. Но ничуть не объясняет странное желание графини быть непременно похороненной в часовне замка.

– Но ведь она была графиня д'Оль-Ониваль.

– Ах, полно, она была Леа Леви, которая называла себя Станиславой д'Асп! И чтобы я после этого поверил, что ею вдруг овладело такое страстное желание покоиться в урне среди твоих предков!

– Однако ты сам видишь что это так и есть, а не иначе!

Фламандец снова взял завещание и стал рассматривать его со всех сторон. Он прочел его еще и еще раз, однако не мог найти в нем ничего особенного.

– Ну, что же делать, – сказал он. – Я тут ничего не понимаю.

Ян Ольеслагерс должен был ждать четыре дня в Ронвальском замке. Каждый день он приставал к графу, чтобы тот исполнил наконец волю покойной.

– Но этого нельзя, – говорил граф, – ведь ты видишь, какое облачное небо сегодня.

Каждая буква завещания была для него строгим законом.

Наконец после полудня на пятый день небо очистилось от облаков. Фламандец снова напомнил графу о том, что пора исполнить волю умершей, и граф сделал необходимые распоряжения. Никто из слуг не должен был покидать заика, только старый садовник и два помощника получили приказание взять с собой заступы и пойти с графом.

Они прошли через парк и обошли тихий пруд. Яркие лучи солнца падали на черепицу часовни, играли в листве белоствольных берез и отбрасывали трепещущие тени на гладкие

песчаные дорожки. Все вошли в открытую дверь часовни, граф слегка помочил пальцы в святой воде и перекрестился. Слуги подняли одну из тяжелых каменных плит и спустились в склеп. Там рядами стояли по обеим сторонам большие красные урны с гербами графов д'Оль-Ониваль. Они были закрыты высокими коронами, и на горлышке каждой урны висела на серебряной цепочке тяжелая медная дощечка с именами и датами покойного.

Позади этих урн стояло несколько пустых. Граф молча указал на одну из них, и люди взяли ее и вынесли из склепа.

Все вышли из часовни и пошли между могилами, над которыми свешивались ветви плакучих берез. Там было около дюжины тяжелых надгробных плит с именами верных слуг графов д'Оль-Ониваль, покой которых даже после их смерти тщательно охранялся. Но над могилой графини не было камня; она была только вся сплошь покрыта сотнями темно-красных роз.

Работники осторожно принялись за дело. Глубоко погружая заступы в землю, они сняли весь верхний слой и вместе с корнями роз отложили его в сторону, где стояла урна. Фламандцу показалось, что они содрали с могилы живую кожу, а красные розы, падавшие на землю, показались ему каплями крови.

Могила была покрыта только черной землей, и работники начали разрывать ее.

Ян Ольеслагерс взял графа за руку:

– Пойдем, походим взад и вперед, пока они работают.

Но граф отрицательно покачал головой: он не хотел ни на одно мгновение отходить от могилы. Его друг ушел один. Он стал медленно ходить вдоль берега пруда, время от времени снова возвращаясь под березы. Ему казалось, что садовники работают необыкновенно медленно, минуты ползли одна за другой. Он пошел в плодовый сад, сорвал несколько ягод смородины и крыжовника, потом стал искать на грядках запоздавшей клубники.

Когда он вернулся к могиле, то увидел, что двое работников по плечи стоят в могиле; теперь дело шло быстрее. Он увидел у них в ногах гроб, они снимали руками последние остатки сырой земли. Это был черный гроб с богатыми серебряными украшениями, но серебро давно уже почернело, а дерево превратилось в липкую труху впоследствии теплого и сырого грунта. Граф вынул из кармана большой белый шелковый платок и дал его старому садовнику: в него он должен был собрать все кости.

Двое работников, стоя в глубине могилы, начали отвинчивать крышку гроба; раздался режущий ухо скрип. Однако большая часть винтов свободно выходила из сгнившего дерева, их можно было вынуть пальцами. Вынув винты, работники слегка приподняли крышку, подвели под нее веревки и перевязали ее. Один из них вылез из могилы и помог старому садовнику поднять из могилы крышку.

По знаку графа старый садовник снял белый покров с тела покойницы, и еще один маленький платок, который закрывал только голову.

В гробу лежала Станислава д'Асп – и она была совсем такая же: как была: когда лежала на своем смертном одре.

Длинная кружевная сорочка, которая покрывала все тело, вся отсырела, и на ней были черные и рыжие пятна. Но сложенные на груди руки были словно вылиты из воска и крепко сжимали Распятие. Она не производила впечатления живой, но ее смело можно было принять за спящую – во всяком случае выражение ее лица не напоминало мертвой. Скорее она походила на восковую куклу, сделанную искусной рукой художника. Ее губы не дышали, но они улыбались. И они были розовые, как и щеки и кончики ушей, в которых были большие жемчужины.

Но жемчужины были мертвы.

Граф прислонился к стволу березы, потом он тяжело опустился на высокую кучу свежерытой земли. Что касается Яна Ольеслагерса, то он одним прыжком очутился в могиле. Он низко склонился и слегка ударил ногтем по щеке покойницы. Раздался едва слышный звук, как если бы он дотронулся до севрского фарфора.

– Выйди оттуда, – сказал граф, – что ты там делаешь?

– Я только констатировал, что пражская фарфоровая глазурь твоей жены прекраснейшее средство; надо его рекомендовать каждой кокетке, которая в восемьдесят лет еще желает изображать из себя Нинон!

В его голосе звучали грубые и даже злобные ноты.

Граф вскочил, вплотную подошел к краю могилы и крикнул:

– Я запрещаю тебе говорить так! Неужели ты не видишь, что эта женщина делала это для меня? А также для тебя – для нас обоих! Она хотела, чтобы мы увидели ее еще раз неизменно прекрасной и после смерти!

Фламандец закусил губы. У него готовы были вырваться резкие слова, но он сдержался. Он только сказал сухо:

– Хорошо, теперь мы ее видели. Заройте же могилу, вы там.

Но граф остановил его:

– Что с тобой? Разве ты забыл, что мы должны переложить ее останки в урну?

– Эта женщина не заслуживает того, чтобы покоиться в часовне графов д'Оль-Ониваль. Он говорил спокойно, но вызывающим тоном, с ударением на каждом слове.

Граф был вне себя:

– И это говоришь ты, – ты у могилы этой женщины? Этой женщины, любовь которой вышла за пределы могилы...

– Ее любовь? Ее ненависть!

– Ее любовь – повторяю я. – Это была святая...

Тогда фламандец громко крикнул графу прямо в лицо:

– Она была самой отвратительной проституткой во всей Франции!

Граф пронзительно вскрикнул, схватил заступ и замахнулся им. Но он не успел опустить его, так как его удержали садовники.

– Пустите! – рычал он. – Пустите!

Но фламандец не потерял самообладания:

– Подожди еще мгновение, – сказал он, – и тогда ты можешь убить меня, если только тебе этого хочется.

Он наклонился, расстегнул ворот сорочки и сорвал ее с покойницы.

– Вот, Винсент, теперь смотри сам.

Граф с восхищением смотрел в могилу. Он увидел прекрасные очертания голых рук и изящную линию шеи. А губы улыбались, улыбались без конца.

Граф опустил на колени на краю могилы, сложил руки и закрыл глаза.

– Великий Боже, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне еще раз полюбоваться ею.

Ян Ольеслагерс снова набросил на тело покойницы покров. Он вышел из могилы и положил руку на плечо друга.

– Пойдем, Винсент, теперь мы можем уйти в замок.

Граф отрицательно покачал головой.

– Иди, если хочешь.

– Я должен переложить ее прах в урну.

Фламандец крепко сжал его руку:

– Очнись же наконец, Винсент. Неужели ты все еще ничего не понимаешь? Как ты это сделаешь... как ты переложить ее в урну?

Граф посмотрел на него бессознательным взором. Ян Ольеслагерс продолжал:

– Вон твоя урна-горлышко у нее довольно узкое. А теперь посмотри на графиню...

Граф побледнел.

– Я должен это сделать, – пробормотал он беззвучно.

– Но ты ведь не можешь переложить ее прах в урну!

– Я поклялся в этом.

Эти слова прозвучали совсем глухо:

– Я поклялся в этом. И я должен переложить то, что от нее осталось, в урну и урну снести в часовню. Я должен сделать это до захода солнца. Так написано в ее завещании. Я

покаялся ей на распятии.

– Но ведь ты не можешь это сделать, пойми же, что не можешь.

– Я должен это сделать, я дважды поклялся в этом.

Тут фламандец вышел из терпения:

– И если бы ты поклялся сто тысяч раз, то ты все-таки не мог бы сделать. Если только не разрезать ее тела на мелкие куски...

Граф вскрикнул и судорожно схватился за руку друга:

– Что, что ты сказал?

Тот ответил ему успокоительно, как бы раскаиваясь в том, что эти слова вырвались у него:

– Ну да, ведь иначе это невозможно.

И в этом заключалось ее намерение... этого она только и добивалась своей последней волей.

Он обнял друга за плечи.

– Прощу тебя, Винсент, уйдем теперь отсюда.

Словно пьяный, граф позволил увести себя, но он сделал не более двух шагов.

Он остановился и отстранил от себя друга. Он произнес, едва слышно, не раскрывая рта:

– Это было ее намерение – и надо его исполнить; я поклялся ей в этом.

На этот раз фламандец понял, что ему остается только молчать, что все слова тут бесполезны.

Граф повернулся; его взгляд упал на багровое солнце, которое уже низко опустилось над линией горизонта.

– До заката солнца, – воскликнул он, – до заката солнца! Надо торопиться.

Он подошел к садовнику:

– У тебя есть с собой нож?

Старик вынул из кармана длинный нож.

– Острый?

– Да, господин граф.

– Так иди и разрежь ее.

Старик с ужасом посмотрел на него. Он весь задрожал и сказал:

– Нет, господин граф, этого я не могу.

Граф повернулся к обоим работникам.

– Тогда сделаете вы это.

Однако работники не двигались, они стояли с опущенными глазами и ничего не говорили.

– Я приказываю сделать это, слышите?

Они продолжали молчать.

– Я сегодня же выгону вас со службы, если вы не послушаетесь меня.

Тогда старик сказал:

– Простите, господин граф, я не могу этого сделать. Я служил в замке двадцать четыре года и...

– Граф прервал его:

– Я дам тысячу франков тому, кто это сделает.

Никто не двинулся.

– Десять тысяч франков.

Молчание.

– Двадцать тысяч.

Младший из работников, который продолжал стоять еще в могиле, посмотрел на графа.

– И вы принимаете на себя всю ответственность, господин?

– Да!

– Перед судом?

– Да!

– И перед священником?

– Да, да!

– Дай мне нож, старик, подай мне также и топор. Я это сделаю.

Он взял нож и сорвал с покойницы покров. Потом он наклонился и замахнулся ножом. Потом он не успел опустить даже руки, как выскочил из могилы и бросил нож на песок.

– Нет, нет! – крикнул он. – Она смеется надо мной!

И он бросился бежать в кусты.

Граф повернулся к своему другу:

– Как ты думаешь, ты любил ее больше меня?

– Нет, конечно, нет.

– Тогда тебе это легче сделать, чем мне.

Но фламандец только пожал плечами.

– Я не мясник... А кроме того... мне кажется, что это не было ее намерением.

У графа в уголках рта показалась пена.

А между тем губы его были совсем сухие и блее полотна. Он спросил тоном осужденного, который хватается еще за последний слабый луч надежды:

– Так ее намерением было... чтобы я... сам?..

Никто не ответил ему. Он посмотрел на запад. Огненный диск солнца опускался все ниже.

– Я должен, я должен это сделать, я поклялся.

Одним прыжком он очутился в могиле. Руки его судорожно сжимались:

– Пресвятая Матерь Божия, дай мне силы!

Он взял топор, высоко замахнулся им над головой, закрыл глаза и со страшной силой опустил его.

Он промахнулся. Топор попал в сгнившее дерево и расщепил его на мелкие куски.

А графиня улыбалась.

Старый садовник отвернулся; сперва нерешительно, а потом все быстрее он побежал от могилы. Оставшийся работник последовал за ним. Ян Ольеслагерс посмотрел им вслед и потом пошел медленно, шаг за шагом, по направлению к замку.

Граф Винсент д'Оль-Ониваль остался один. С минуту он колебался, хотел крикнуть, позвать убежавших. Но какая-то необъяснимая сила зажимала ему рот.

А солнце опускалось все ниже и ниже; оно кричало ему, – он слышал, как оно кричало.

А графиня в его ногах улыбалась.

Но эта улыбка и придала ему силы. Он опустился на колени и взял с земли нож.

Рука его дрожала, но он воткнул нож, воткнул его в шею, которую он так любил, любил больше всего на свете!

Тут он вдруг почувствовал громадное облегчение и громко захохотал. Его хохот раздавался так громко и пронзительно в вечерней тишине, что ветви берез дрожали и покачивались взад и вперед, как в смертельном испуге. Казалось, будто они вздыхают и рыдают и хотят бежать, далеко от этого страшного места. Но они все-таки должны были стоять на своих местах, должны были видеть и слышать все, прикованные к почве своими могучими корнями...

Ян Ольеслагерс остановился, там у пруда. Он слышал этот страшный хохот, которому не было конца, слышал, как рубил топор, как скрипел нож. Он хотел уйти дальше, но что-то приковало его к земле, какая-то неодолимая сила удерживала его на месте, словно и он прирос к земле, как березы. Его слух обострился до невероятности, и ему казалось, что сквозь громкий смех он слышит, как трещат кости, как разрываются жилы и мускулы.

Но среди всего этого в воздухе вдруг раздалось какие-то новые звуки. Нежные, серебристые, как будто сорвавшиеся с губ женщины. Что это такое?

Вот опять и опять... Это было хуже ударов топора, хуже безумного хохота графа.

Звуки продолжали раздаваться все чаще и яснее... Но что же это такое?

И вдруг он сразу догадался – это смеялась графиня.

Он вскрикнул и бросился бежать в кусты. Он заткнул пальцами уши, открыл рот и вполголоса смеялся сам, чтобы заглушить все другие звуки. Он забился в кусты, как загнанный зверь, не осмеливаясь перестать издавать эти бессмысленные звуки, не осмеливаясь отнять руки от головы. Он широко раскрыл глаза и смотрел на дорогу, на лестницу, которая вела к открытой двери часовни.

Тихо, неподвижно.

Он ждал, затаив дыхание, но он знал, что когда-нибудь этому ужасу настанет конец. Когда там, сзади, исчезнут последние тени в темной чаше вязов, – когда наконец зайдет солнце.

Все длиннее и длиннее становились тени; он видел, как они растут. И вместе с ними росло его мужество. Наконец-то он осмелился: он закрыл рот. Он ничего не слышал больше. Он опустил руки. Ничего.

Тихо, все совершенно тихо. Но он все еще продолжал стоять, ожидал, притаясь за ветвями.

Вдруг он услышал шаги. Близко, все ближе, совсем рядом.

И он увидел в последних багровых лучах заходящего солнца графа Винсента д'Оль-Ониваля. Он шел мимо и не смеялся больше, но его застывшее лицо ухмылялось широко и самодовольно. Словно он только что проделал самую удивительную и невероятную штуку.

Твердыми, уверенными шагами он шел по дороге, держа в высоко поднятых руках тяжелую красную урну. Он нес в склеп своих праотцов останки своей великой любви.

А графиня улыбалась.